

Враг своих близких, душа, пожираемая ненавистью и алчностью, — низкое существо! И все же я хотел бы вызвать в вашем сердце жалость и хоть каплю сочувствия к нему. Всю жизнь убогие страсти заслоняли от него свет, сиявший так близко, что порою жаркие лучи касались и обжигали его. Да, страсти... Но прежде всего — люди, не очень-то милосердные христиане. Он оказался их жертвой и мучителем. Ведь сколько среди нас строгих судей презренного грешника, — они-то и отворачивают его от истины, ибо ей уж не воссиять сквозь их толпу.

Нет, не деньги были кумиром этого скупца, не мести жаждал этот бесноватый. Что он любил в действительности, вы узнаете, если у вас хватит терпения и мужества выслушать его исповедь, вплоть до последнего признания, прерванного смертью...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Как ты будешь удивлена, найдя это послание у меня в сейфе на пачке ценных бумаг! Быть может, лучше было бы отдать письмо на хранение нотариусу, и он вручил бы его тебе после моей смерти; или положить его в ящик письменного стола — наследники, конечно, поспешат взломать стол еще до того, как остынет мой труп. Но ведь долгие годы я столько думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи так ясно представлял себе, как оно будет лежать на полочке сейфа — совершенно пустого сейфа, где не будет ровно ничего, кроме этого акта мести, которую я готовлял почти полвека. Успокойся (да ты, впрочем, уже успокоилась), — процентные бумаги целы! Я так и слышу этот ликующий возглас. Как только ты вернешься из банка, ты крикнешь детям, еще не откинув с лица траурный креп: «Процентные бумаги целы!»

А ведь они чуть было не исчезли из сейфа: я уже готовился принять для этого меры. Стоило мне захотеть, и я всего бы вас лишил, оставил бы вам только дом и землю. На ваше счастье, ненависть моя умерла. Я долго думал, что у меня ненависть — самое живучее из всех чувств. А вот я ее не испытываю больше, — по крайней мере сегодня не испытываю.

Я состарился, одряхлел, и мне трудно представить себе — неужели я был когда-то безумцем, боль-

ным существом, одержимым ненавистью? Неужели я ночи напролет обдумывал — не средства отмщения (эта бомба замедленного действия была уже изготовлена с величайшей тщательностью, чем я очень гордился) — я размышлял о том, как буду наслаждаться своей мстостью. Как мне хотелось дожить до той минуты, когда ты вернешься из банка, вскрыв пустой сейф. Как бы у вас вытянулись физиономии! Нужно было только постараться все устроить умно, выдать тебе доверенность на вскрытие сейфа не слишком рано и не слишком поздно, чтоб не лишиться себя радости услышать, как все вы с отчаянием в голосе будете вопрошать: «Где ценные бумаги?» Даже самая мучительная агония, пожалуй, не испортила бы мне этого удовольствия. Да, я был способен на такое вероломство. Как меня довели до этого? Ведь я не был извергом.

Уже четыре часа дня, а на столе в моей спальне все еще стоит поднос с остатками завтрака; по грязным тарелкам ползают мухи. Я звоню, — но все без толку. В деревне звонки всегда испорчены. Набравшись терпения, жду, когда кто-нибудь наконец заглянет ко мне. В этой комнате я спал в детстве, и здесь же я, вероятно, умру. А в день моей смерти милая дочь Женевьева первым делом потребует отцовскую спальню для своих детей. Ведь я занимаю самую большую и самую хорошую комнату в доме. Будьте справедливы и вспомните, пожалуйста, что я предлагал Женевьеве уступить ей место, и, конечно, сделал бы это, если б не вмешался доктор Лаказ, заявивший, что для моих бронхов вредна сырость и мне поэтому не годится жить в нижнем этаже. Я-то, разумеется, пере-

селился бы туда, но с затаенной обидой, и рад, что мне в этом помешали. (Постоянно я приносил своим близким жертвы, отравлявшие мне жизнь, и чувство горькой обиды, которое они оставляли в душе, не только не утихало со временем, но возрастало и крепло от воспоминаний об этих жертвах.)

Злопамятство и гневливость — черты наследственные в нашей семье. Я не раз слышал от матери, что мой отец долгие годы был в ссоре со своими родителями, а они тридцать лет не желали встречаться со своей дочерью, которую выгнали из дому, и до самой своей смерти не помирились с ней (от нее пошла наша марсельская родня, с которой мы не знакомы). Младшее поколение в нашей семье никогда не знало причин этих раздоров, но, доверяя старшим, впитало в себя их ненависть; я и сейчас, пожалуй, отвернулся бы от своих марсельских кузенов, если б встретился с ними на улице. Можно не видеться с дальними родственниками, а куда денешься от своей законной жены и от своих собственных детей? Бывают, конечно, хорошие, дружные семьи, но как подумаешь, сколько у нас супружеских союзов, в которых муж и жена раздражают друг друга до последней степени, терпеть друг друга не могут, а между тем едят за одним столом, умываются из одного умывальника, спят на одной постели, — то просто диву даешься, что у нас еще мало разводов! Ненавидят друг друга, а спастись бегством не решаются; так и живут под одной кровлей...

Почему это у меня нынче такое лихорадочное желание писать о своей жизни, именно сегодня — в день моего рождения? Мне пошел шестьдесят восьмой год,

но только я один об этом знаю. День рождения Женевиевы, Гюбера и их деток у нас всегда отмечается: пекут сладкий пирог, втыкают в него свечечки, дарят виновникам торжества цветы... Я уже много лет ничего не дарил тебе на день рождения, — и не потому, что забываю, а из мести... Довольно!.. Последний букет, полученный мною на день рождения, был подарком моей бедной мамы, — она нарвала для меня эти цветы своими старческими руками, обезображенными подагрой; не думая о своей грудной жабе, о всех своих недугах, она с трудом добрела до розария.

Так о чем это я говорил? Ах да, — ты, конечно, удивляешься, почему вдруг на меня напало неистовое желание писать, — именно неистовое. Можешь судить об этом хотя бы по моему почерку: все буквы скривились в одну сторону, как сосны под западным ветром. Послушай, в начале письма я говорил, что долго обдумывал свою месть, — и вот отказываюсь от нее. Но есть кое-что в тебе, кое-что, исходящее от тебя, над чем мне хочется восторжествовать, — я имею в виду твое молчание. Не пойми меня превратно. Я очень хорошо знаю, какая ты тараторка — ты можешь часами беседовать с Казо по поводу домашней птицы или огорода. С детишками, даже самыми маленькими, ты весело болтаешь и сюсюкаешь целые дни. Зато со мной!.. Ах, это мрачное молчание за семейными трапезами! Я вставал из-за стола, несколько не отдохнув, — голова пустая, сердце гложут заботы, а поговорить о них не с кем... И особенно тяжело мне стало дома после дела Вильнава, когда я сразу прославился в качестве крупнейшего адвоката-криминалиста, как называют меня в газетах. Чем

больше я склонен был возомнить о себе, тем больше ты старалась показать мне, что я ничтожество... Впрочем, не в том дело, — мне хочется отомстить тебе за другое, за твое упорное молчание, когда дело касалось нашей семейной жизни, глубочайшего нашего разлада. Сколько раз, слушая пьесу в театре или читая книгу, я задавался вопросом: а бывают ли в жизни любовники или супруги, которые делают друг другу «сцены», объясняются начистоту, и у них становится легче на душе после таких объяснений.

Сорок с лишним лет мы оба страдали, живя бок о бок, и все эти сорок с лишним лет ты как-то ухитрялась не произнести ни единого слова, затрагивающего что-нибудь глубокое; ты всегда ускользала.

Я долго думал, что это сознательно выработанная тобою система, и все хотел понять, зачем и почему ты к ней прибегаешь. Но в один прекрасный день меня осенила догадка: моя жизнь просто-напросто не интересовала тебя. Я оказался вне круга твоих забот, занятий, развлечений и стал настолько чужд тебе, что ты всегда избегала меня, и не из страха, а потому, что тебе было скучно со мной. У тебя тонкое чутье, ты сразу угадывала малейшую мою попытку к сближению, и если я заставлял тебя врасплох, находила какие-нибудь пустячные отговорки или же, похлопав меня по щеке и наскоро поцеловав, убегала по своим делам.

Конечно, можно опасаться, что ты разорвешь мое письмо, как только прочтешь первые строки. Но нет, ты этого не сделаешь, — уже несколько месяцев, как в тебе затронуто любопытство: ты удивлена, заинтригована.

Хоть ты и мало ко мне присматриваешься, но как же тебе было не заметить разительную перемену в моем настроении? Да, да, я уверен, что на этот раз ты не ускользнешь от объяснения. А я хочу, чтобы и ты, и твой сын, и твоя дочь, и зять, и внуки узнали наконец, что за человек жил одиноко в стороне от вашего тесного кружка, что представлял собою тот измученный, усталый адвокат, за которым им приходилось ухаживать, потому что кошелек был у него в руках. Человек, который томился и страдал где-то на другой планете. На какой планете? Тебе и в голову не приходило полюбопытствовать, посмотреть на нее. Успокойся, я не собираюсь угостить тебя надгробным словом во славу моей особы, заранее сочиненным мною самим, или же обвинительной речью против вас. В моей натуре преобладает свойство, поражающее всякую женщину (за исключением тебя, разумеется), а именно беспощадная ясность мысли.

Никогда у меня не было той утешительной способности к изворотливому самообольщению, которая облегчает жизнь большинству людей. Если мне случилось совершить что-либо гадкое, низкое, то я первый отдавал себе в этом отчет...

Пришлось отложить перо — дожждаться, когда принесут лампу. Пока ее не зажгли и не заперли ставни, я смотрел в окно, любовался красивыми тонами черепиц на крышах сараев и винного подвала, — одни яркие, как цветы, а другие переливчатые, словно грудка у голубя. Слушал, как дрозды поют в густой листве плюща, обвившего и ствол, и ветви пирамидального тополя, как стучит бочка, которую катят по двору. Мне

все-таки повезло: я дожидаюсь смерти в милом сердцу уголке, где все осталось таким же, каким было в моем детстве. Только вот гудит и стучит движок, поднимая воду из реки, а прежде скрипело колесо водочерпалки, которое вертела старая ослица... (Да еще рокочет этот противный почтовый самолет, который ежедневно в час вечернего чая уродует небесную лазурь.) А ведь немногим удастся видеть в живой действительности, совсем близко, рядом с собою, мир своего прошлого, который большинство людей воскрешает лишь перед своим мысленным взором, когда у них хватает мужества и терпения погрузиться в воспоминания. Прикладываю руку к груди, прислушиваюсь к частому и слабому биению сердца, смотрюсь в зеркало, вделанное в дверцу шкафа, в котором хранятся шприц, ампулы с атропином, камфорой и вообще все, что необходимо в случае приступа удушья. А услышат меня, когда я позову на помощь? Они уверяют, что у меня «ложная грудная жаба», но говорят так не столько для моего, сколько для собственного утешения, чтобы им спокойнее спалось. Осторожно делаю вдох. Ощущение неприятное — как будто кто-то положил мне руку на левое плечо и нажимает на него, не дает ему свободно подняться, словно хочет напомнить: «Я тут, не забывай». Да, надо отдать справедливость смерти, — ко мне она не подкрадывается по-воровски. Она уже несколько лет открыто бродит вокруг меня, я слышу ее шаги, чувствую ее дыхание; она со мной терпелива, не зря же я подчиняюсь строгой дисциплине, к которой обязывает ее приближение. Вот и доживаю свой век в халате, создав вокруг обстановку, приличествующую больному старику; сижу в том самом глубоком кресле с поду-